

Валерий Казаков

# *Трамвай номер 13*

О веселом и грустном



Валерий Казаков

**Трамвай номер 13.  
О веселом и грустном**

«Издательские решения»

**Казаков В.**

Трамвай номер 13. О веселом и грустном / В. Казаков —  
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-855868-9

Это книга о странностях первой любви, где веселое безрассудство главных героев порой соседствует с печальными прозрениями и пониманием того, что ничего в этой жизни не повторяется.

ISBN 978-5-44-855868-9

© Казаков В.  
© Издательские решения

## Содержание

На Невском – дождь	6
Завод	7
Анна	10
За грибами	14
Честь	17
К другим берегам	22
Закуток	25
Вожденная суббота	27
Конец ознакомительного фрагмента.	28

# **Трамвай номер 13 О веселом и грустном**

**Валерий Казаков**

© Валерий Казаков, 2017

ISBN 978-5-4485-5868-9

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## **На Невском – дождь**

*Маленькая повесть*

## Завод

Центральный Ремонтный Завод в Ленинграде ничем от других заводов не отличался и ничего мне не напоминал, он просто был в моей жизни, как некий этап, через который нужно было пройти.

На заводе каждый рабочий день для меня начинался одинаково. Миновав прохладную проходную, я заходил в просторную раздевалку, где облачался в черную промасленную робу. После этого через железную дверь попадал в первый цех, где царил полумрак и какой-то особенный нескончаемый заводской шум. Потом из этого шума начинал выделяться громкий надсадный скрежет, который особенно сильно раздражал. Это карусельщик Анатолий начинал обтачивать на своем огромном станке массивные паровозные колеса.

По широкому коридору я продвигался к своему долбежному станку марки «Големь», включал его и начинал рабочий день с изучения чертежей и заточки резцов под нужный размер.

Иногда в конце смены ко мне подходил краснорожий слесарь дядя Леша и доверительным тоном предлагал:

– Пойдешь пить стакан?

– Нет, – вяло отвечал я.

Но, когда он предложил мне пить стакан в третий раз, я сделал вид, что толком не понял его вопрос и переспросил:

– Стакан чего?

– Водки, конечно, – удивился он. – Тут у нас за углом закусовая...

– Водку я не пью, – ответил я, отрицательно покачав головой.

– Почему это? – снова удивился дядя Леша.

– Не хочу, и всё.

– Вот те на! Не хочу... Нет, дружок, у нас так не принято. Ты к нам на завод работать пришел или как? Ты новый член коллектива. Должен же я с тобой как-то познакомиться.

Железная логика его доводов застигла меня врасплох. Я на какое-то время растерялся, а дядя Леша между тем продолжил:

– Понимаешь, тут у нас на трезвую голову с человеком, как следует, не поговоришь. Традиция такая. Понял?

– Понял, – ответил я, предполагая, что если отвечу иначе, то дяде Леше это может не понравиться. А если не понравится, неизвестно что ещё может случиться.

Потом по гулкому заводскому коридору мы продвигались в раздевалку. Я впереди, он сзади. У меня было ощущение, что он меня конвоирует из мечты в реальность. Рядом с раздевалкой была душевая, где дядя Леша услужливо намылил мне спину и с иронией посмотрел на мои худые ноги без волос. Отошел в сторону и саркастическим тоном изрек:

– У тебя зад как у курицы.

Я не обиделся, я знал, что мой зад действительно не внушает оптимизма. Просто я ещё расту, мне только что исполнилось восемнадцать и это накладывает определённый отпечаток на весь мой внешний облик...

После душевой мы с дядей Лешей долго одевались. Расчесывали волосы, подсыхали, обмениваясь какими-то короткими ничего не значащими репликами. Потом возле нас появился ещё один человек, тот, которого всегда не хватает. Так называемый третий, сначала ставший оппонентом, а потом всё более проявляющий себя как партнер и собутыльник.

Собутыльник был шуплым человеком с редкими седыми волосами и крупной головой на тонкой морщинистой шее. Дорогу до закусовой он знал не хуже дяди Леша.

Закусовая встретила нас мятежным духом винного перегара, запахом куриного бульона и сизым дымом сигарет. Мы энергично сбросились по два рубля. Дядя Леша принес спиртное

и закуску. Встал рядом и, не говоря ни слова, опрокинул свой стакан в тёмный и большой рот. Крякнул. Выдохнул. Сделал губы коромыслом, как будто о чем-то запоздало пожалел. Потом потер кончик носа, зажимая его между пальцами, сморщил лицо в гармошку, прикрыл глаза такими же морщинистыми, как лицо, коричневатыми веками и глубоко вздохнул. На салфетке под его стаканом в это время вырос полукруг влаги.

В дяде Леше, надо честно признаться, не было ничего отталкивающего. В нем просто всё было как-то излишне крупно, я бы даже сказал, размашисто. Большое морщинистое лицо с морковно-кирпичным оттенком, огромный нос, усыпанный мелкими черными крапинками, увесистый небритый подбородок. А ещё у дяди Леша были громадные руки, которые всегда что-то выражали вслед за голосом, спеша заполнить образовавшуюся паузу тишины многозначительным жестом. Дядя Леша имел широкие плечи, внушительный, но не тяжелый, а соразмерный размаху его души живот.

После стакана водки дядя Леша показался мне не тучным и не слабым человеком. Правда, его голос иногда чем-то напоминал рычание. Из-за этого его кажущаяся доверительной речь где-то в скрытой своей глубине таила явную угрозу.

Сделавшись слегка навеселе, он сказал:

– Ну, давай рассказывай, – и толкнул меня локтем в бок.

– Чего? – не понял я, сознавая, что это некий пароль, вслед за которым могут последовать реальные действия.

– Откуда тебя черт принес на нашу голову?

– Рассказывай, рассказывай, – посоветовал плоскогрудый собутыльник. – Интересно ведь...

Я стал рассказывать о себе, стараясь при этом не ударить в грязь лицом, угодить дяде Леше и собутыльнику, в общем, сделать приятное всем хорошим людям на земле, которые стоят у станков на многочисленных российских заводах. И до того договорился, что, в конце концов, попытался доказать им свою персональную близость к таким, как они. Стал уверять, что и выпивать я могу порядочно, и в морду дать, как следует, если потребуется. Что природная моя бледность и худоба – это явления временные. Скоро я окрепну и стану пить водку пивными кружками, научусь курить и материться, как сапожник. То есть в итоге я ощутил себя неостребованным пьяницей и громилой, скрывающимся под личиной обыкновенного рабочего парня.

– Хватит, – остановил меня дядя Леша. – Ты лучше скажи, как там у вас на Вятке насчет леща? Ключёт ещё лещ-то?

– Лещ, – осекся я, как будто упал с большой-большой высоты.

– Да лещ... А чего? Раньше ведь леща на Вятке было много. Лещ с Камы заходил – крупный, красноперый. Я там ребенком после блокады жил какое-то время. В Советске. Там был туберкулезный санаторий на берегу реки... До сих пор его помню. Сосны, вода, солнце, горячий речной песок...

– А как же... И лещ, и стерлядь, и прочее... И вода...

– А санаторий?

– Стоит, куда он денется, – на всякий случай соврал я, хотя ничего про этот санаторий не знал.

– Хорошие там были люди, – мечтательно изрек дядя Леша. – Санитарки хорошие и врачи. Они меня на ноги поставили после войны.

– Да и теперь...

– Сейчас народ другой, – отрезал дядя Леша без обиняков.

– Да я бы...

– Другой, – снова повторил он и посмотрел на меня грозно.

– Ну, может...

– Не спорь с ним, – посоветовал мне собутыльник, – пока в рожу не получил.

На всякий случай я решил сбегать за водкой, плеснуть друзьям ещё грамм по сто от щедрости души. Я уже чувствовал себя их должником. Видел в них старших товарищей, готовых научить меня уму разуму. Но денег, как назло, наскреб только на двести пятьдесят граммов. Когда буфетчица начала разливать водку по стаканам, я услужливо посоветовал:

– Два по сто, а мне пятьдесят хватит.

– А мне всё равно, – огрызнулась буфетчица и посмотрела на меня с той же иронией, с какой дядя Леша разглядывал меня в душевой.

Мне на какое-то время показалось, что эта женщина видит меня в неверном ракурсе, в неправильном свете. Я действительно был ещё очень нескладен, худ и высок. От меня за версту разило стеснительностью. Я чувствовал себя кисейным и волооким интеллигентом среди пропахших потом мужиков и баб, но я очень хотел быть чистым и искренним...

В тот день дядя Леша проводил меня до автобусной остановки. Мы шли, взявшись за руки, изрядно пошатываясь, громко бормоча только нам понятные душевные слова. И я чувствовал, как его железная рука постепенно становится гуттаперчевой. Как весь он делается легким и элегантным интеллигентом, готовым выслушать мои бредни и дать мне дельный совет.

При расставании он ласково посмотрел на меня и сказал:

– Прилетай ещё, голубок. Я тебя со своей птахой познакомлю. Её Анютой звать.

– А кто это такая? – нагло осведомился я.

– Это... дочка моя младшая.

– А?

– Хорошая девка. Только дура. Вроде тебя...

## Анна

Я и сейчас не могу понять, как это у безразмерного дяди Леша могла появиться такая миниатюрная красавица дочь. И почему он решил меня с ней познакомить? Какая в этом была нужда? Я же ничем себя не проявил, ничем не заслужил эту странную благосклонность. Я только ещё начинал кроить свою жизнь, оробело подступаясь к монолиту города и пробуя его то на взгляд, то наощупь. Причислить меня к стану будущих ловеласов было невозможно, хотя прелюдия скрытой греховности уже жила во мне весьма тучным призраком.

Я ждал этого знакомства, я жаждал его. И оно состоялось.

Дядя Леша, как бы между делом, намекнул мне, что его дочь будет ждать меня в сквере возле проходной нашего завода. На этот раз его голос был не твердым и не доверительным, а каким-то пространным. Как будто он говорил это не мне, а кому-то другому, кто был у меня за спиной. На всякий случай я оглянулся. За моей спиной дремал американский клен с корнем, похожим на громадную куриную лапу.

Я уже направился к заводской проходной, когда дядя Леша остановил меня словами:

– Ну, ты на свиданье-то не гони. Успеешь ещё. Отстегни старику на бутылку в знак благодарности.

Я отпустил руку в карман, нащупал там мятую трешку и сунул её дяде Леше в ладонь. Он широко улыбнулся.

– Иди...

Через прохладную проходную я вышел на улицу, накосом пересек безлюдную площадь перед заводским корпусом и углубился в сквер, где кроме юных берез были ещё престарелые, сгорбленные временем каштаны. Увлажненный летним дождем и пронизанный солнцем сквер светился золотом изнутри, дышал, пошевеливался, брезгливо стряхивал с листьев мелкие капли.

– Здравствуй, – сказала она. Её голос прозвучал откуда-то справа, неожиданный, как шелест крыльев испуганной птицы. Я повернул туда голову. Вот она белокурая девочка в кисее бардового платья. Анна стояла возле юного каштана, слегка покачиваясь. Возможно, это ощущение создавалось из-за высоких каблучков на её босоножках. Или из-за того, что она была тонкая, как былинка, и её раскачивал ветер.

– Я Аня.

– А я Андрей. Но как вы меня узнали?

– Папа сказал, что вы худой и высокий. Что вы увлекаетесь поэзией. Вы пишете стихи?

– Я?

– Да.

Я, конечно, любил Есенина, читал Ахматову и Пастернака. Но чтобы писать стихи самому. До этого дело не доходило, слава Богу. Писание стихов представлялось мне такой несусветной морочкой, что я никогда и не думал о них всерьёз. Но, чтобы соответствовать моменту, я сказал:

– Да, я пишу... иногда. Знаете. Но это очень-очень личное, я бы даже сказал, суверенное. В поэзии важно не сфальшивить, найти верное сочетание слов и... образов. Постараться каждую строку увенчать подлинным чувством.

– Вы так красиво говорите, – похвалила меня Анна, – как настоящий поэт... И взгляд у вас ясный. Вы так смотрите, как будто знаете что-то очень важное.

И меня понесло. Я вдруг ощутил себя если не гением, то человеком весьма значительным. Этаким хозяином положения, игроком, предчувствующим большой выигрыш.

Я потащил её в закусную через дорогу. Взял себе стакан водки, а ей – бокал «Каберне». И всё это в каком-то немислимом темпе, как бы не в силу, а вопреки пронзительному чувству

едва возникшей симпатии. Я выпил водку залпом, схватил Анну за тонкую теплую ладонь и заговорил что-то совершенно немислимое, несвойственное мне ранее. Говорил долго, иногда красноречиво вскидывая брови и картинно поправляя непокорный локон, сползающий мне на глаза.

А закончил свою мысль примерно так:

– Жизнь, Анечка, это всего лишь проталина мысли в сугробах судьбы. Красивый пируэт свободного ума на поприще давно знакомых истин.

Она от восторга ахнула:

– Как хорошо!

Сейчас я понимаю, что это было роковое восклицание. Не нужно было его произносить. Ибо за ним могло последовать только одно – чтение стихов собственного сочинения, или что-то иное, но примерно в том же роде, когда потребность утвердиться на пьедестале обожания становится важнее всего. Когда в обретении этого пьедестала не жаль пожертвовать даже своей жизнью.

Передо мной была уже не женщина, а очарованная слушательница, зрительница, восторженная ценительница прекрасного. И мне обязательно надо было продолжать покорять её своими познаниями в поэзии и прозе, философии и живописи. Хотя познания эти были, надо признаться, весьма скудными.

Между тем Анна была очень хороша. У неё были большие синие глаза и обольстительно полные губы. И в ней совершенно не чувствовалось манерности. Сплошная скромность и искренность, теплота и румянец тайной робости на щеках.

Но всё это вдруг стало уходить на задний план. Я должен был двигаться дальше. Сейчас мне важно было удивить её чем-то ещё, поразить, обескуражить, продлив тем самым в ней этот пленивший меня восторг...

В общем, всё закончилось тем, что я влез на бордюр какого-то чугунного моста в центре города и... прыгнул с него в холодную Неву.

Когда прыгал, страха в душе не было. Было ощущения заключительного аккорда. Жирной точки над «и».

Но в полете со мной что-то произошло. Полет отрезвил и одновременно отрезал путь к отступлению. Катастрофическое отсутствие альтернативы ошарашило и потрясло... Неужели все?! А как же перспектива блестящего будущего, покорение вершин, претензии на исключительность? И, пораженный этой мыслью, я огласил окрестности города ужасным предсмертным криком:

– А-а-а-а!

О том, что я прекрасно плаваю, я вспомнил только в воде...

Когда по гранитным ступеням я устало поднялся на берег, жалкий, испуганный и худой – одна сплошная впалость, без выпуклостей – Аня посмотрела на меня так, как будто я не герой её романа, а крохотное ничем не примечательное насекомое.

– Что это было? – спросила она.

Я растерянно пожал плечами и ничего не ответил. В голове была трезвая, гулко звенящая пустота.

– Для чего ты это сделал? – снова, уже совсем холодно повторила она.

– Я хотел...

– Чего ты хотел?

– Мне показалось...

– Я никогда не смогу уважать человека, который ни во что не ставит свою жизнь. Это глупо, – неожиданно ясно и лаконично выразилась она.

– Я немного подсохну и потом всё тебе...

– Ничего не надо объяснять. Ничего больше не будет, – отрезала она...

Потом я шел рядом с ней, втянув голову в плечи, и, дрожа от холода, бормотал:  
– Понимаешь, видимо, потребность полета давно жила во мне. Я это чувствовал, только выразить не мог. И вот случайно вырвалось...

– И это ты называешь случайностью?

– Я не хотел.

– Не хотел, – ворчливым тоном, но уже более мягко повторила она.

– Всё случилось как бы само собой.

– А если бы ты разбился... насмерть.

– Ну и хрен с ним, – выпалил я отчаянно.

Я думал, после этого она презрительно фыркнет и убежит от меня. Что она сочтет это за очередное оскорбление. Но она почему-то не убежала. Осталась. Она шагала рядом и слушала мои путанные беспшабашные объяснения. Она на что-то надеялась. Я понимал, что мне нужно как можно больше узнать о ней. Как-то сблизиться, постараться понять. Но вместо этого я всё рассказывал ей о себе, пытаюсь быть предельно откровенным. Она и не подозревала, что после прыжка в холодную Неву я стал другим человеком. Мне больше не хотелось мостить путь к славе. Мнимая значительность во мне скорчилась и умерла, придавленная тяжестью бессмысленного поступка. Сейчас я был сам собой. Но мог ли я заинтересовать её в этом новом облике?



А, впрочем, навязываться в вечные дыхатели к Анне я вовсе не собирался. Поэтому, ничего не объясняя, свернул в какой-то пустынный дворик, нашел там укромное место и стал раздеваться.

– Что ты собираешься делать? – спросила она.

– Одежду сушить, – буднично пояснил я.

– Как? Прямо на улице?

– Прямо, – ответил я. – Люди в лифтах писают, а мне просушиться нельзя в приличном месте?

– В лифтах писают хамы.

– Ну, значит, я хам.

Она посмотрела на меня возмущенно и растерянно. Потом покачала головой и развела руками, ничего не говоря. Мол, что с тебя взять, с такого глупого и невоспитанного.

Между тем я стянул с себя рубаху, штаны, выжал всё это и развесил на чугунной ограде сквера так, чтобы подсыхало и проветривалось. Атрибуты моей отчаянности трепал теплый летний ветер.

Вскоре я согрелся, сел на пыльную траву рядом с чугунной изгородью и вытянул худые ноги перед собой. Мне, такому неказистому в тот момент, показалось, что Анна уйдет от меня

через минуту. Что ей делать здесь, рядом со мной, таким худым, невзрачным и неуравновешенным.

Но она почему-то не уходила. Она презрительно раздувала ноздри, пыталась на меня не смотреть, переступала с ноги на ногу, но никуда не уходила. Она чего-то ждала. Наверное, ей было жаль оставлять меня одного в такой момент.

И мне вновь стало хорошо. Мне не хватало сейчас только густой махристой зелени над головой, чтобы почувствовать себя совершенно счастливым.

Где-то в каменной чаше за нашими спинами пронзительно запели птицы. Звуки этой трели были созвучны биению моего сердца. Неведомые городские птахи явно провоцировали во мне возрождение новых желаний. И тогда я не выдержал, я сказал:

– Давай когда-нибудь ходим за грибами.

– Что? – переспросила она голосом только что проснувшегося человека.

– Сейчас в лесу хорошо, – продолжил я мечтательно. – Там липы цветут. Медом пахнет.

– А мне в лесу страшно. Однажды я была у бабушки в деревне, и зашла в лес. А там огромные деревья, незнакомые птицы и муравьи... В лесу я не смогла бы задержаться даже на десять минут, если бы не было бабушки рядом. Лес – это такая мрачная стихия, такая страшная, что просто ужас. Недаром ведь в лесу медведи живут.

– Ты ничего не понимаешь, – парировал я. – Лес – это вселенная. А город – так, пустое место. Груда камней в натеках плесени. Мечта, закованная в гранит.

– Пустое место – город! – снова обиделась Анна. – Да город – это средоточие культуры, мерило высших ценностей, центр всех научных знаний. В крупных городах творили гении, которые поразили своими произведениями мир. Такие, как Караваджо, Микеланджело, Поль Сезанн и Анри де Ренье.

– А для меня важнее природы нет ничего. Человек может быть счастлив только на лоне природы. Всё остальное – фуфло.

– Какие глупости ты говоришь.

– Это не глупости. Вот мы с тобой ходим за грибами, и ты всё поймешь сама.

## За грибами

В лесу я шел впереди, она – сзади. У неё было испуганное и неискушенное лицо. Даже ветки под её ногами хрустели как-то настороженно. Она знала, что где-то здесь, совсем рядом (возможно, за соседним кустом) прячутся бурые медведи, чуть дальше – рыщут в поисках добычи волки, а из-под гнилой валежины в любую минуту может выпорхнуть ядовитая змея толщиной с хороший водопроводный шланг и кинуться на нас, разинув пасть.

Естественно, при таком предвзятом отношении к лесу она пресытилась им уже через полчаса. Он наскучил ей, как могут наскучить за окном несущегося поезда однообразные телеграфные столбы. В её душе явно не было места дендрологической сущности, способной соединить созерцание с вдохновением...

А когда я присел под березой на широкой, пронизанной солнцем поляне и жестом пригласил её присоединиться ко мне, – она наотрез отказалась. Сказала, что боится заплутавших в высокой траве муравьёв. Потому что они тут повсюду. И если они заползут под одежду, то от них уже не избавишься, пока не разденешься донага. Да ещё эти жуткие клещи, которые коварно впиваются под кожу и разносят энцефалит. Нет. Уж лучше она постоит рядом. Так для неё безопаснее.

Тогда я сделал нечто, по её мнению, ужасное. Я немного отодвинулся от березы, лег в густую, мельтешащую мелкими тварями траву и заложил руки за голову. Солнце спелым яблоком легло мне на веки. В голове стало пусто и светло.

– Хорошо! – совершенно искренне произнес я.

– Издеваешься, – откуда-то сверху ответила Анна.

– А что?

– Душно. Я вся вспотела. От меня в электричке будет пахнуть потом, как от какого-нибудь водопроводчика или водителя башенного крана.

Видимо, она полагала, что башенные краны ездят по дорогам, как обыкновенные машины.

– И грибов мы не набрали. Где твои хваленые грибы?

– Наверное, рано ещё, – отозвался я.

– Тогда для чего мы здесь?

– Сам не знаю... Хотел показать тебе лес.

– Лес! – удивилась она. – Я этого не понимаю.

– Зелень, солнце и этот вот шум листвы, – уточнил я, чувствуя ресницами прикосновение теплого ветра.

– Ну и что? – снова повторила она. – Не понимаю. Лес мрачный, густой и страшный. Хочется поскорее от него избавиться.

– Здесь махристая зелень кругом.

– Это Набоков.

– Что?

– «Махристая зелень» – это из Набокова. Он так писал. Странно, длинно и непонятно, о чем... Я ненавижу его Лолиту и Машеньку тоже ненавижу. Писал о женщинах, но женщин не понимал.

– А кто понимал? – спросил я с улыбкой.

– Женщину может понять только женщина. Агата Кристи, Виржиния Вульф, Нэнси Като.

– А разве есть такие писательницы? – усомнился я.

– Есть... А ты думал, что все писатели мужчины?

– Странно, – произнес я, ни о чем не думая.

– Ничего странного, – отреагировала она, приняв это восклицание на свой счет. – Женская натура гораздо сложнее, чем мужская. Мужчины грубы и прямолинейны. Они думают, что любовь – это наслаждение, некое сонное блаженство, которому нет конца.

– А что же это, по-твоему?

– Это испытание на прочность, это притягательное клише, которым пользуются поэты и писатели, чтобы оправдать свою распущенность...

– Присядь со мной рядом, – попросил я.

Мне показалось, что если она сядет со мной рядом, она лучше меня узнает.

– Зачем? – спросила она.

– Чтобы понять, что земля теплая.

– Она сырая.

– Ты не присядешь?

– Нет, никогда. Ты только посмотри, сколько там всяких тварей. Посмотри. На каждой травинке свой жучок, своя гусеница.

Она даже присела на корточки, чтобы лучше рассмотреть этих мелких тварей.

– И все шевелятся. Фу!

– Дура ты, – с улыбкой отозвался я.

– Сам дурак, – весело ответила она...

Обратно мы шли по обочине сельской дороги. Эта обочина была пыльной, заросшей грубой белесой полынью и чахлым цикорием с приметами увядания. Но зато эта дорога вывела нас на окраину Финского залива. К огромным гладким валунам, на которые с шумом обрушивались коричневато-зелёные морские волны.

Над заливом стояла сизая дымка, сквозь которую смутно просматривались очертания дальних берегов. Я никогда не видел такого огромного пространства воды. Я нигде не встречал таких громадных, так тщательно отполированных валунов. Поэтому поспешил спуститься поближе к морю и сел на гладкий холодный камень возле морских волн так, чтобы мелкие брызги иногда долетали до меня, увлекаемые резким порывом ветра.

Дальняя кромка нашего берега отсюда показалась мне туманной, органично вплетенной в зеленовато-сизую перспективу залива.

Моя спутница спустилась с берега и села рядом. Что называется, снизошла. Её чудные волосы растрепал прохладный морской ветер, с запахом морских водорослей.

– Здесь холодно, – сказала она через какое-то время.

– Зато, какой простор! Посмотри.

– Просторно, но холодно, – отозвалась она.

Её излишняя изнеженность, выставляемая напоказ, начала меня раздражать. Даже шум морского прибоя её не волновал. Я уже не знал, как понимать эту её бесчувственность. Как назвать её невосприимчивость к этой поглощающей меня особой монополии звуков и запахов. Её душа всё ещё оставалась для меня тайной. Возможно, неясная, едва слышимая мелодия зарождающейся любви значила для неё гораздо больше, чем для меня. Возможно, я чего-то не понимал... Но почему тогда она не чувствовала восторга от того, что меня воодушевляло? Почему так легко не замечала то, что застигало меня врасплох своей оглушающей и восхитительной новизной?

– Море! – мечтательно пропел я.

– Холодно, – ответила она.

– Сесть на корабль и плыть...

– Куда? – не поняла она.

– Вдаль...

– Где-то там должен быть Кронштадт.

– Кронштадт, – оживился я. – Первая русская крепость, заложенная Петром для охраны северной столицы?

– Первый город, восставший против большевизма, – добавила Анна.

– Да, да... Кронштадт... Ленин, Троцкий, большевики. Страшное время...

– Время гибели той России, которая никогда больше не возродится, – уточнила Анна...

Обратно в Ленинград мы добирались вовсе не на корабле, а на обыкновенном пыльном автобусе, который почему-то сильно трясло. Как будто он мчался на всех парусах по морским волнам. Анна сидела рядом со мной и смотрела за окно. Её полное теплое бедро было рядом с моим бедром, и поэтому все мои чувства были сосредоточены именно там. Оно грело мне душу, оно наделяло меня несбыточными надеждами. В голову лезли разные бредни из разряда страстных мечтаний вперемежку с нелепыми сомнениями.

Очарование жаркого летнего дня постепенно сменялось прохладным блаженством вечера. Золото – серебром, серебро – медью. Медь – тусклым отблеском мебельного лака – на деревьях, на домах и заборах.

Когда мы въехали в город, там всё было уже темно-коричневым, охряным, затухающим. На черную стрелу дорожной ленты поочередно нанизывались то перекрестки, то темные арки мостов, то ажурные скверы. Над городом стояли низкие тучи с серым подбоем. Городские окраины запестрели охряными взмахами новостроек, которые были оторочены по периметру грудями серых кирпичей.

Город чугунных оград и гранитных набережных, город громоздкой грации, здравствуй!

Кажется, у Валентина Серова есть картина «Похищение Европы». Серый холст, рыжий бык, плывущий по синей воде, и загадочная женщина на спине у быка. Таков сюжет картины. Ленинград чем-то напоминает мне эту женщину – дочь финикийского царя Агенона, похищенную Зевсом. Мы отчалили от Азии. Но доплывем ли мы куда-нибудь до настоящей цивилизации. До Европы. Я не знаю.

## Честь

Моя фамилия Арматуров. Я почти уверен, что эта фамилия вам ни о чем не говорит. Честно сказать, я и сам долго не знал, откуда она взялась. Прадед мой был из купцов, отец всю жизнь служил ветеринаром и был знаменит лишь тем, что держал при доме огромную собаку неизвестной породы, которая повергала в ужас всё местное население.

Мать работала счетоводом на нефтебазе. Много лет она уверенно крутила ручку механической счетной машинки под названием «Феликс». При этом машинка громко щелкала, постукивала и порой начинала петь как шарманка. Иногда мне казалось, что под её аккомпанемент можно исполнять революционные гимны.

Дома мама украдкой читала роман Уильяма Фолкнера «Роза для Эмили». Бабушка плохо видела и была уверена, что это евангелие.

В детстве я много болел. Часто ходил на медпункт за справками, освобождающими от посещения школы. Однажды молодая фельдшерица в белом халате и больших модных очках скептически посмотрела на меня и спросила:

– Опять горло болит?

– Да, – чистосердечно ответил я.

– Пора гланды вырезать, – резюмировала женщина в белом халате.

Я не знал, где находятся гланды и решил, что это очень болезненная операция чем-то похожая на кастрацию. Поэтому на медпункт больше не приходил.

А в пятом классе решил, что учеба – это занятие бесполезное, которое вполне можно заменить чем-нибудь более интересным.

Более интересным занятием стала для меня рыбалка. Я очень любил сидеть на берегу с бамбуковым удилищем, наблюдая, как по Вятке идут пароходы. Один из пароходов имел название «Август Бебель», а другой назывался «Степан Халтурин». Я долго считал, что оба эти человека были известными музыкантами. Только один был еврей, а другой русский.

Клевали ерши и пескари. Весь улов этой непрезентабельной рыбы умещался на дне трехлитровой банки.

Обычно на рыбалку мы уходили вдвоем. Я и рыжий кот Кунскар, который, кажется, тоже имел навыки рыбака, только не знал, как применить эти навыки на практике. Если я в резиновых сапогах заходил далеко в воду, то кот тоже пробовал заходить в воду и при этом так внимательно на меня смотрел, как будто желал получить от меня дельный совет.

Когда я долго не выходил из воды, Кунскар садился в воде на камень и зорко следил за моим поплавком. При этом над водой торчала только верхняя часть его волосатого тела. Если в таком виде его замечали взрослые и серьезные люди они обычно спрашивали:

– Что это у вас с котом? Кошки обычно воды боятся.

– Он у нас водоплавающий, – бойко отвечал я.

– Водоплавающий? – весело удивлялись соседи.

– Да.

После этого высказывания рыжий кот смотрел на меня благодарными глазами, и я понимал, что этот усатый тип ожидал от меня именно этой фразы...

Через год я решил, что закончу школу экстерном, как Ленин. То есть я совершенно перестал её посещать. Слово экстерн звучало для меня как призыв к экстренной эвакуации. Вот я и покинул школу без сожаления. После этого мать обиделась на меня и стала говорить, что в будущем мне не доверят даже счетную машинку под названием «Феликс». Отец сделал губы коромыслом и махнул рукой. Он твердо знал, что из меня ничего путного не получится, а помогать ему по хозяйству я смогу и без солидного образования.

В тринадцать лет я устроился на работу в Хлебоприемное предприятие. Откровенно говоря, я рассчитывал занять должность сторожа, но мне почему-то доверили только штыковую лопату, которой нужно было срубить сорняки возле огромного склада с зерном.

Помнится, однажды я ударил лопатой в кучу репейников возле склада. Часть растений упала, а другая продолжала стоять. Я разозлился и замахнулся снова, чтобы свалить упрямый репейник окончательно, но в это время от стены склада ко мне, с угрожающим писком кинулась огромная серая крыса. Она была ничуть не меньше рыжего кота. Я испуганно отпрянул назад, замер на одном месте, но крыса почему-то не остановилась. Она стремительно подбежала ко мне и попыталась прокусить пыльный ботинок на моей ноге.

Я, забыв про лопату, бросился от крысы наутек. Какое-то время крыса преследовала меня, потом остановилась. Кажется, кто-то в это время кричал. Сейчас я не уверен, что это был именно я. Может быть, крысы тоже умеют громко кричать. Кто его знает.

После этого случая серые крысы стали внушать мне опасение.

Я попросился на другую работу. И мне доверили метлу, которой я должен был прометать склады для нового урожая. С этой работой я справлялся прекрасно, но после рабочей смены был похож на шахтера, и всё время удивлялся тому, как много в старых складах белесой пыли. Пыль была на полу, на деревянных перекладах вдоль стен, на ленточном транспортере, на окнах и дверях. Так что мое местонахождение в складе можно было легко определить по серому облаку пыли, которое двигалось вместе со мной.

Пыльную рожь загружали в машины и увозили на мельницу. Какое-то время спустя я понял, почему из неё получается именно черный хлеб. Ведь если пыль слегка сбрызнуть водой – она станет совершенно черной.

После этого открытия я перестал есть черный хлеб. И вообще, мне захотелось перейти на другую работу. Мне захотелось чего-то нового, необычного, где даже речи нет о метлах и лопатах.

И вскоре судьба улыбнулась мне. Я попал в бригаду местных рыбаков, которой руководил Коля Волгарь.

Бригада рыбаков отправлялась на промысел рано утром. И хотя вставать рано я ещё не привык, ради нового места работы я научился бороться с сонливостью.

Уже первое путешествие по большой воде от Красноятека до Немды показалось мне восхитительным. Я смотрел на зелёные берега, проплывающие мимо, на белесые пески, на синюю, отражающую небо воду, и мне становилось удивительно спокойно. Ветер пошевеливал пряди волос на моей голове, в небе над нашим баркасом парили чайки, и мне стало казаться, что о такой работе можно только мечтать. Ведь это не работа, а сплошное приятное путешествие. Но за каменной грядой возле Немды наш баркас приставал к песчаной отмели. Мужики стаскивали на песок один конец невода, потом вчетвером пытались удержать его возле берега, а Коля Волгарь на малых оборотах отплывал на своем баркасе в русло реки. В это время я должен был находиться возле лотка с неводом и следить, чтобы нижняя веревка не перехлестнулась с верхней.

Когда весь невод оказывался в воде – Коля Волгарь слегка добавлял оборотов на двигателе, и мы метров сто спускались вместе со снастью по течению реки, вытягивая невод огромной дугой. Иногда в это время было видно, как шальная рыба перепрыгивает через верхнюю веревку невода. Обычно эти странные фокусы проделывали небольшие шуки. Рыба, прыгающая через верхнюю веревку, почему-то очень радовала Колю Волгаря. Он начинал широко улыбаться и повторять:

– Это хорошо. Если рыбе деваться некуда. Это хорошо.

Потом баркас приставал к берегу и начиналась наша основная работа. Два человека из нашей бригады тянули невод за верхнюю веревку, двое – за нижнюю, а я должен был захо-

дить как можно дальше в воду и прижимать нижнюю веревку невода к песчаному дну, чтобы под ней случайно не вырвалась на волю вёрткая рыбешка.

Когда мотня невода была уже у берега, и становилось понятно, что она не пустая, бригаду рыбаков охватывал азарт. Они торопились вытащить мотню на песчаный берег, потом радостно поднимали узкий кошель вверх и вытряхивали из неё пойманную рыбу. Рыба блестящим полумесяцем ложилась на влажный речной песок. Её было так много, что мне казалось, будто рыбалку пора заканчивать. Потому что этой рыбой можно заполнить все отсеки в нашем баркасе и все пустые корзины.

Но рыбалка на этом не кончалась. Она продолжалась до той поры, пока солнце не начало неистово печь наши затылки, когда очередная тень не приходила совершенно пустой.

После этого Коля Волгарь громко командовал:

– Баста!

Рыбалка прекращалась, и мужики привычно подходили к носовой части баркаса, где в таре с холодной водой давно томились две бутылки отменной «Уржумской» водки.

– За удачную рыбалку, – говорил Коля Волгарь, наливая очередной стакан.

– За успех, – отвечал ему подошедший член бригады и радостно выпивал живительную влагу.

После этого все становились разговорчивыми, начинали шутить и производили на меня какое-то новое впечатление. Тот, кто был хмурым – вдруг становился остроумным и веселым. Весельчак – неожиданно начинал хмуриться и сетовать на свою несчастную долю, на скверную жизнь. Примерный семьянин вдруг называл жену коброй и старался рассказать о ней какую-нибудь гадость. То есть после стакана водки с рыбаками почему-то случалась разительная перемена. Эта перемена меня очень удивляла. Я ждал, когда же в очереди за преображением появится место для меня. Мне было интересно, что произойдет со мной после стакана водки.

Я в то время очень хотел измениться, чтобы стать совершенно другим человеком. Я хотел побороть в себе стеснительность. Мечтал, чтобы на меня обратили внимание девочки с аппетитными попками. Чтобы меня не пучило после картофельного пюре. Чтобы у меня вдруг выросли густые и черные усы, как у Васи Рашпиля. Чтобы я легко разбирался в математике, где большое количество формул странным образом доказывает одну давно известную истину, которую я готов принять без доказательств. Чтобы я случайно сунул руку в просторный карман своих парусиновых брюк и нашел там сто рублей. Сунул в другой карман – и нашел ещё сто.

Но Коля Волгарь видимо считал меня человеком второго сорта. Поэтому водки мне не доставалось. Преображение откладывалось...

Осенью из бригады рыбаков я ушел. Отец сказал, что если я не окончу школу, как все нормальные люди, он выпорет меня и выгонит из дома. Что таких бестолковых и ленивых людей, как я, среди Арматуровых ещё не было. Что я позорю честь их семьи.

Мать в сердцах напомнила мне о том, что один мой дед был купцом второй гильдии, а второй – известным земским доктором. Что я своим поведением бросаю тень на их светлую память.

В сентябре мне купили новые штаны, потому что из старых я вырос, и отправили доучиваться в школу, которую я ненавидел всей душой.

Посещение школы для меня было сродни наказанию. Сама мысль о том, что сегодня надо будет идти в школу уже пугала меня. Я просыпался, представлял себя за партой на уроке математики – и мне становилось дурно.

Математику нам преподавала Варвара Петровна Венгерова – коренастая и властная женщина с темными вьющимися волосами. Её голос вызывал у меня раздражение. Этим голосом можно было скликать кур на обширном дворе или крыть матом пьяных мужиков у пивного ларька, но излагать законы тригонометрии таким языком было совершенно невозможно.

И всё же главной чертой Варвары Петровны было не это. Варвара Петровна отличалась тем, что каждый раз придумывала своим отстающим ученикам разные унижительные прозвища. Вначале она называла нас бестолковыми людьми. Потом стала называть тупыми тварями. После этого – чурками с оловянными глазами. Потом – безмозглыми дармоедами, у которых на голове можно колья тесать.

И что интересно, мы ничего не могли ей возразить. Мы чувствовали себя виноватыми и понимали, что она, в конечном счете, права. Мы заслужили такое к себе отношение. Во всяком случае, меня она оскорбляла вполне законно.

Вскоре моим лучшим другом стал Володя Мамонт.

Володя Мамонт был на пять лет старше меня. Он имел уголовное прошлое и непритязательную внешность. Брил голову наголо, смачно матерился и показывал нам синюю наколку на левом плече, где смутно просматривался профиль Сталина. Что это означало, я толком не знаю до сих пор, но иметь такую наколку мне почему-то очень хотелось.

Володя Мамонт увлекался женщинами и футболом. Он стал капитаном нашей сборной. Мы учились у него подавать угловые, стоять в защите, брать одиннадцатиметровые и смело атаковать.

Помнится, однажды я так увлекся атакой, что не успел увернуться от неожиданно возникшего передо мной массивного защитника, который лет на десять был старше меня. Защитник ударил меня животом в лоб. Я упал и долго не мог прийти в себя. После этого Володя Мамонт сказал, что центрального из меня не получится. Рост у меня маловат.

Я вынужден был стать вратарем. И, кажется, на этом поприще начал делать успехи. Мяч иногда попадал мне в руки, иногда вместе со мной залетал в сетку ворот.

Я уже стал мечтать о заманчивом спортивном будущем, о славе Льва Яшина. Но в это время Леха Шнырь – худой и злой старикашка, которые жил рядом со спортивной площадкой, однажды ночью спилил наши полосатые футбольные ворота. Он уже давно предупреждал нас, что мы слишком громко кричим, что много курим, сидя на его бревнах. Что за кустами акций возле его бани устроили туалет. Хамим его жене, которая однажды грозилась проткнуть вилами наш футбольный мяч, когда он случайно залетел к ней в огород...

Ворота мы поставили новые. Но простояли они недолго. Леха Шнырь темной ночью снова их спилил. Он оказался таким же упрямым и злым как Варвара Петровна...

Теперь длинными вечерами мы бродили по пустынному поселку и не знали, чем нам заняться... От безделья я стал интересоваться прошлым нашей семьи.

Однажды я не выдержал и пристал к отцу:

– Расскажи откуда у нас такая фамилия?

Отец посмотрел на меня внимательно, потрогал свои жесткие усы и сказал:

– От деда.

– Но ведь дед был купцом, – удивился я.

– Был купцом. Да... За это его и раскулачили. Десять лет он провел в Томских лагерях, а потом вернулся и решил фамилию сменить.

– Для чего? – не понял я.

– Чтобы комиссары больше к нему не приставали. Как ты не понимаешь. У него же была фамилия Мочульский. А все Мочульские в округе были людьми богатыми. Один держал спирт-завод, другой считался лесопромышленником. Третий...

– А почему он выбрал фамилию Арматуров? – перебил я отца.

– Потому что эта фамилия показалась ему крепкой, как камень. Тогда кругом звучало – Сталин да Молотов, Сталин да Молотов. Вот дед и решил не отставать. Взял себе эту крепкую фамилию. А что может быть прочнее арматуры. Арматура – основа всего...

Всё встало на свои места. Теперь я знал, почему родители так хотели дать мне приличное образование, вразумить, направить на путь истинный. Им казалось, что я могу бросить

тень на фамильную честь Арматуровых. Ведь это всё равно, что бросить тень на Сталина или Молотова. Потому что их фамилии из тоже же ряда...

Чтобы не подводить своих родителей я твердо решил окончить среднюю школу. Я стал прилежно посещать занятия и кое-как дотянул до окончания обучения. Аттестат мне выдали без четверок. То есть в нем были сплошь одни тройки, которые в прописном варианте расшифровываются как «удовлетворительно». Но и такому аттестату мои родители были очень рады. Им было важно, что аттестат у меня есть. Остальное не важно.

## К другим берегам

Это Анна запланировала для меня посещение Эрмитажа. Втайне запланировала, в прожекторных лучах, вероятно полагая, что сам я ещё долго не решусь на такой ответственный шаг.

После тяжелой работы на заводе я привык пить стакан водки в полумрачной закуской, заедать водку холодным беляшом и вполголоса рассуждать с дядей Лешей и собутыльником о нетрезвой политике нынешней власти. О том, что в очередь на квартиру сейчас можно стоять до скончания века. Что хорошей зарплаты нам не видать, как своих ушей. А начальника цеха Якова Эскина лучше всего поймать где-нибудь в темном заводском коридоре и отметелить за всё, как следует, чтобы потом неповадно было нормы выработки завышать.

Жил в моей душе какой-то детский романтизм, но к живописи он не имел никакого отношения, и поприще художника меня не привлекало. Несерьёзное это занятие для здорового мужика – водить по холсту кистью. Подсолнухи рисовать, мать-мачеху, репейники и прочие заросли, подспудно полагая, что создаешь шедевр. Да, в определённые моменты времени меня волновали золотисто-медные закатные лучи, контрастно вплетенные в густую листву берез. Но это продолжалось только одно мгновение, пока в душе жил странный детский восторг. Потом все становилось на свои места.

Эрмитаж встретил меня настороженно. Блестящие сусальным золотом арки дверей, отягченная излишней витиеватостью балюстрада, мраморные ступени – всё пространно намекало мне, что я тут не на своем месте. Я здесь чужой.

В первый момент я даже растерялся. Для чего мне всё это великолепие? Я жил без него и буду жить дальше, как живут миллионы людей в России.

– Это Рембрандт, – сказала Анна, указывая тонким пальчиком на портрет какой-то толстушки, которая откинула одеяло и порывалась встать с кровати, увенчанной тяжеловесным балдахинном. В толстушке не было ни очарования, ни достоинства, если не считать плюсом отсутствие нижнего белья. Пышная кровать, пышная женщина, приглушенный солнечный свет. Глубокие, зияющие чернотой тени.

– Простушка, – кратко сформулировал я свое отношение к женщине на холсте.

Анна слегка наклонила ко мне голову и зашептала:

– Говорят, в этом шедевре Рембрандта скрыта истинная женская красота. Попробуй её увидеть.



– Это не красота, это фуфло, – парировал я.

– Ты не понимаешь, – обиделась Анна. – Ты не понимаешь самых простых вещей.

– Почему?

– Потому что ты должен проникнуться чувством... симпатии к этой немолодой женщине, в которой нет броской красоты, но есть особое очарование.

– Не вижу я тут никакого очарования и ничего особенного тоже не вижу, – уперся я.

– Просто ты упрямый человек. Тысячи людей со всего мира едут сюда, чтобы понять это очарование, чтобы воочию увидеть, окунуться, а ты...

– Что я?

– Ты холодный провинциал. Мне неловко. Мне стыдно находиться рядом с тобой, – сказала она, стараясь не смотреть на меня. – Ты даже не пытаешься проникнуть в ту сферу искусства, которая не открывается тебе с первого взгляда. Где требуется немного поразмыслить.

– Белиберда это всё, – упрямо повторил я...

В зале Пикассо произошло то же самое. Она стала уверять меня, что в нагромождении этой кубической серости есть какая-то философия, которую я должен принять, и с этих позиций увидеть прекрасную суть произведений великого француза. Я же, сколько ни приглядывался к его шедеврам, с какой стороны к ним ни подходил, ничего, кроме отвращения, синтезировать в своей душе не смог. Они вызывали во мне недоумение и досаду.

– Серость, – равнодушно выдохнул я, когда она попросила меня сказать что-нибудь о картинах этого мастера.

– Пикассо – серость? – снова обиделась Анна. – Серость – Пикассо?

– А мне плевать, что Пикассо. Если это убогая мазня. Чьей бы она ни была, мне она безразлична.

Я, привыкший видеть истинное искусство в грубых настенных коврах, где изображались обширные синие озера с белыми лебедями посередине. Где по краям ковра красовались красные розы, обрамленные курчавой зеленью. Где бродили тучные стада оленей, богатыри, медведи и волки. Как я мог после всего этого поверить, что серые круги и треугольники какого-то там Пикассо, могут тоже что-то значить. Что это всё тоже можно назвать искусством.

– Но это же гениальный художник, картины которого в Европе – просто бесценны и...

– А какое мне дело до Европы? – не дал я ей договорить.

– Да ты понимаешь, что в его картинах больше философии, чем во всех произведениях Ивана Шишкина, – запальчиво выпалила Анна.

– Ну, уж не скажи! – возмутился я. – Шишкин – и эта серая убогость! Тут даже сравнивать нечего.

– Тогда... тогда мне с тобой не о чем говорить. Ты слепой, ты неотесанный болван, – почти прокричала Анна и пошла от меня прочь, размашисто виляя задом. На высоких каблуках это получалось у неё так соблазнительно, так дерзко, что я готов был согласиться с любым её доводом, только бы она не оставляла меня одного. Уходящая, она обольщала меня всей своей интеллигентной недоступностью, всем своим подчеркнuto городским пафосом. Всей своей особой своей утонченностью, которая сейчас, сзади, почему казалась мне наиболее рельефной...

Она была тонкой, как тростинка. Но эта тростинка задевала во мне столько неведомых струн, что поток чувств оглушал, ставил в тупик, в позу оробелого замешательства, к которому примешивалось незнакомое томление. Вот в ком подспудно дремала настоящая Даная. Вот кого следовало запечатлеть на просторном холсте истории...

На улице я догнал её. Она шла и молчала. Но её глаза, её губы каким-то странным образом все еще говорили со мной. Я это чувствовал, я это ощущал.

Вот её рука поднялась слегка, розоватые пальцы раздвинулись и сжались. Наверное, она что-то сказала мне мысленно, в чем-то меня упрекнула. Вот задрожали её ресницы, взлетели высоко и быстро опустились. Ветер пошевелил прядь русых волос на её голове, солнце слегка позолотило невесомые завитки на висках.

И тут я отчетливо осознал, что не слышу её шагов. Мне показалось, что она не шагает – летит. Она такая легкая, такая воздушная, безгрешная, что в задумчивости вполне может забыть о земном притяжении.

– Аня!

– Что?

– Не улетай.

– Тогда ты... тогда ты...

– Что?

– Не убивай меня своим непониманием, – еле слышно произнесла она.

И я почувствовал себя букашкой, погребенной под ворохом её знаний. Она была на целую голову выше меня, мудрее и значительнее. Она понимала Пикассо, она ценила Рембрандта. В её душе звучала возвышенная музыка мировой культуры.

## Закуток

На заводе есть такие места, где человеку с улицы, человеку, далекому от производства, находиться неприлично. Там огромной кучей лежат массивные бруски железа, какие-то ржавые прутья, мотки проволоки и порожняя стеклотара. Иногда при случайном порыве ветра терпкий запах мочи доносится из дальнего угла закутка, напоминая о чем-то дурном, но привычном...

В закутке всегда медленно тянется время. Это заводской тупик. Свалка.

В закутке рабочие люди отдыхают после «комплексного» обеда, во время общего перекура или заходят сюда просто так, когда на душе скверно или пучит живот. Закуток хотя и завален ненужным железом, но из-за высокого забора тут и там в него свешиваются зеленые лапы лип, пронзают изгородь стрелы молоденьких кленов, топорщится по углам вездесущая узорчатая крапива.

На этот раз в закутке была черноглазая фрезеровщица Зоя – женщина лет двадцати пяти – тридцати, которая полулежала на обрезке доски и делала вид, что загорает. Недалеко от неё на деревянной катушке из под кабеля сидел рябой мужик Анатолий, дорабатывающий до пенсии последние месяцы. Зоя была в синей заводской спецовке, сильно засаленной на животе. На её голове был белый платок, на ногах – кроссовки. Зоя казалась мне олицетворением рабочей женщины, женщины – труженицы. Большая, широкоплечая, с короткой шеей и мощным задом. С лицом породистой крестьянки, на котором ярко алели большие, обильно накрашенные жирной помадой губы. В правой руке Зои тлела сигарета.

Карусельщик Анатолий плохо слышал, был хмур и никогда со мной не разговаривал. На этот раз он, видимо, что-то почувствовал и предупредительно отвернулся от нас. Между собой мужики говорили, что его жена сидит где-то в заводской бухгалтерии, и поэтому дядя Толя получает самую высокую в цехе зарплату.

– Эй, молодой, – бесцеремонно обратилась ко мне фрезеровщица Зоя, нахально стрельнув на меня темными, озорными глазами, – садись поближе.

Я от растерянности ничего не ответил.

– Ишь, какой стеснительный, – тут же продолжила она. – Садись рядом, говорю. Я тебе на колени голову положу. Устала.

Для чего-то я снова взглянул на Анатолия. Как он отреагирует на эту странную реплику? Но Анатолий смотрел в другую сторону, делая вид, что совершенно равнодушен к происходящему. Он привычно курил и стряхивал пепел себе под ноги.

– Садись, – снова повторила Зоя.

Я подошел и осторожно, с плохо скрываемым стеснением, сел рядом. Она легко приподнялась на локтях, подвинулась ко мне и положила свою голову мне на бедро. Потом прикрыла глаза коричневатыми веками и удовлетворенно выдохнула. На её лице появилось выражение, напоминающее улыбку.

– Вот так. Хорошо.

Её голова была тяжелой и теплой, как сентябрьская дыня. От волос исходил едва уловимый аромат духов и ещё какой-то странный кисловатый запах, которым пахнут перегретые на солнце листья чернотала где-нибудь у лесной реки.

– Как тебя зовут? – спросила она, слегка приподняв веки и наблюдая за мной в узкие щелки глаз.

– Андрей, – сухо ответил я.

– Сколько тебе?

– Двадцать, – соврал я.

Она замолчала, закрыла глаза. И снова на её лице появилась едва читаемая странная улыбка. Потом её голова слегка сдвинулась, съехала в ямку между моими бедрами, томи-

тельно пошевелилась там и пробудила во мне нечто совершенно невообразимое, ненужное в данный момент. Я не хотел, но вопреки всем запретам из меня стало прорасти то, чего я никому не хотел показывать, чего я так стыдился. То, от чего я готов был сквозь землю провалиться. Сейчас она могла ощутить это прорастающее из меня чувство всем своим тёплым затылком, кожей, волосами, оголенной шеей. Я слегка приподнял одну ногу, потом другую. Но это почему-то не помогло. Из меня нагло и упрямо выпирал мужчина.

В пылу борьбы с самим собой я не заметил, как на её лице снова появилась улыбка. Этой улыбкой она меня обидела и вдохновила одновременно, обожгла и отблагодарила. Сейчас она возбуждала во мне какое-то низменное, но приятное чувство. Она стала мне родной – эта женщина, пахнущая увядающим черноталом, мягкими водорослями и сухими, тонконогими полевыми цветами. Женщина в синей заводской спецовке, большая, тяжелая, лишенная романтического изящества.

– Приходи на танцы в субботу, – неожиданно сказала она, не открывая глаз.

Я видел только, как шевелятся её влажные губы.

– Куда?

– В Дом культуры железнодорожников. Куда же ещё. Там наша общага недалеко... Придешь?

– Не знаю, – ответил я неуверенно.

– Там весело бывает. Приходи, – попросила она.

– Может быть, в следующий раз... как-нибудь...

В это время Анатолий поднялся со своего сидения, прошел мимо нас, блеснув на солнце синей засаленной спецовкой, покрутил лысой головой туда-сюда и медленно раскрыл огромную дверь в первый цех, откуда донеслись привычные заводские шумы и запахи. И на секунду мне показалось счастьем то, что было со мной минуту назад. Потому что через какое-то время мне нужно будет возвращаться обратно, к своему ужасному долбежному станку марки «Гомель» и работать на нем до конца смены, протачивая канавки для шпонок на огромных, холодно блестящих железных шестернях.

– Тебе пора? – спросила она через минуту.

– Да.

– Ну, иди. Но в субботу приходи на танцы. Не забывай...

Меня утешает одна мысль, что когда-нибудь из шестерен, изготовленных мной на Центральном Ремонтном Заводе, умные люди соберут могучий чугунный паровоз, на котором вся Россия въедет в счастливое будущее. Из Азии – в Европу, на теплой железной спине паровоза, как на спине быка.

## Вожделенная суббота

Всю неделю я был уверен, что в субботу никуда не пойду. Зачем? Для чего? Чтобы ближе познакомиться с Зоей фрезеровщицей? С женщиной в синей спецовке, от которой пахнет вядающим черноталом?

Это мне совершенно не нужно. У меня есть Аня, у меня есть представление о настоящей любви, которая меня пока что не разочаровала.

Но чем ближе подходила суббота, тем всё сильнее меня одолевал соблазн. Мне казалось, что Зоя другая, что с ней у меня будут какие-то особые отношения, не такие, как со всеми остальными девушками, которых я знал ранее.

...И вот суббота пришла. Пришла как-то совершенно неожиданно, когда оказалось, что Анна мне не звонит и не отвечает на мои звонки. Что дядя Леша смотрит на меня с нескрываемым равнодушием, не приглашает пить стакан, не пытается заговорить. Когда мне показалось, что моя жизнь течет однообразно и хмуро, как осенний день, занавешенный выпцветшими облаками.

Ещё утром в субботу я был уверен, что никуда не пойду. Но после обеда почему-то стал часто посматривать на часы, нашел и начистил кремом свои новые ботинки, прогладил брюки. Мне казалось, что я это делаю просто так, на всякий случай. Подумаешь, фрезеровщица Зоя пригласила меня на танцы. Она пригласила, а я никуда не пойду, потому что ничего ей не обещал. Потому что мне от неё ничего не нужно. Она будет ждать, искать меня глазами, а я не появлюсь. Пусть не надеется. С какой стати я должен исполнять все её прихоти?

Какая-то странная двойственность поселилась в моей душе. Я был почти уверен, что не должен встречаться с этой женщиной. Краем уха в заводской раздевалке я слышал, что она вовсе не образец порядочности, что она порочная, гулящая баба. И, в то же время, что-то влекло меня к ней. Может быть, как раз именно эта нелестная характеристика и влекла.

Не могу объяснить, как это получилось, но в девять вечера я стоял на теплых каменных ступенях у Дома культуры железнодорожников, который серой глыбой возносился к облакам, и с каким-то странным предчувствием вглядывался в лица женщин, проходящих мимо. Был обычный летний вечер, слегка подкрашенный охрой, разлинованный синими тенями поперек улицы и пронизанный громкой музыкой. Всё было как всегда, только я был другим. Я как-то особенно остро улавливал звуки и запахи. Даже дым сигарет в этот вечер действовал на меня возбуждающе. Звуки шагов настораживали и пьянили одновременно. Я боялся увидеть Зою и в то же время ждал с ней встречи. Я ненавидел её и любил. А вдруг она совсем не такая, какой мне кажется? А вдруг она лучше, умнее, соблазнительнее?

Когда в некрасивой, хорошо одетой, но полноватой женщине, которая с улыбкой подходила ко мне, я узнал Зою, мне стало не по себе. Все произошло как-то слишком стремительно, слишком быстро. Я ещё не успел как следует подготовиться к этой встрече.

– Заждался? – спросила она, обдавая меня резким запахом духов, помады и чего-то ещё, чему не подобрать название.

– Да нет, – смущенно ответил я.

– А я знала, что ты придешь.

– Почему?

– Не скажу, – с улыбкой, слегка прищутив глаза, ответила она.

Танцевала Зоя без особого желания. В ней от природы не было ни изящества, ни легкости, которые требуются в танце. Она тяжело и неуверенно переступала полными ногами, неуклюже топталась передо мной на одном месте, иногда задумчиво и чуть смущенно смотрела в сторону. В какой-то момент я почувствовал, что ей хочется поскорее отсюда уйти. Я, откровенно говоря, хотел сделать то же самое.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.